

А. Е. РИЗЕНКАМПФ
ВОСПОМИНАНИЯ
О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Публикация Г. Ф. Коган

Воспоминания А. Е. Ризенкампа в печати полностью не появлялись. Впервые они были частично процитированы и пересказаны О. Ф. Миллером в «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского»¹. Эта публикация оставалась единственным источником воспоминаний о писателе друга его юности².

Доктор А. Е. Ризенкампа, ревельский друг М. М. Достоевского, сблизившийся с Федором Михайловичем в годы своего учения в Петербургской медико-хирургической академии, был одним из тех, кто первым откликнулся на опубликованное в газетах обращение ко всем «лицам, близко стоявшим к Достоевскому в ту или иную пору его жизни», предоставить в распоряжение издателей воспоминания и записки о великом писателе³. Ризенкампа прислал О. Миллеру свои записки в декабре 1881 г. из Пятигорска, где он безвыездно жил в последние годы жизни, занимаясь ботаникой⁴. Рукопись, переданная Миллеру, была до сих пор не известна. Недавно выяснилось, что она хранилась в частном собрании. Приложенное к ней сопроводительное письмо Ризенкампа к Миллеру свидетельствует, что это первая тетрадь воспоминаний о Достоевском. Вторую тетрадь (воспоминания о встречах с Достоевским в Сибири) автор обещал выслать «в возможной скорости», если первая «удостоится» одобрения Миллера. Неизвестно, выполнил ли Ризенкампа свое обещание.

В «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского» приведены отрывки из воспоминаний Ризенкампа, которые относятся к годам поступления и учения Достоевского в Инженерном училище и началу его литературной деятельности (1837—1844). Соединяя иногда отрывки воспоминаний из разных мест тетради, Миллер упустил некоторые существенные детали. Так, остались неуказанными многие не известные в биографии Достоевского адреса (дома, в которых он бывал в Петербурге и в Ревеле), имена тех лиц, с которыми он встречался и которые его особенно интересовали, имена авторов и названия книг, привлекавших в ту пору особый интерес Достоевского, библиотеки, в которых он абонировался, имена артистов балета и Александринского театра, увлекавших юного Достоевского.

Рукопись Ризенкампа представляет собою тетрадь большого формата (27 X 21) в 67 страниц. В общей сложности материалы, приводимые О. Миллером из воспоминаний Ризенкампа, составляют половину текста рукописи. Наиболее значительные страницы, не вошедшие в «Жизнеописание», мы публикуем ниже.

Отметим, что рукопись Ризенкампа дает возможность уточнить и некоторые даты в биографии Достоевского. Так, Миллер, а вслед за ним и Л. П. Гроссман, указывают, что Достоевский вместе с Ризенкампом был на представлении оперы «Руслан и Людмила» в апреле — мае 1842 г.⁵ Однако опера «Руслан и Людмила» была поставлена на петербургской сцене весной 1843 г.⁶ Рукопись Ризенкампа позволяет сделать уточнение: в опере они были 18 апреля 1843 г. У Ризенкампа находим и точную дату, когда Достоевский впервые читал друзьям отрывки из своих драматических опытов «Мария Стюарт» и «Борис Годунов».

В тетради Ризенкампа содержатся ценные воспоминания о старшем брате писателя Михаиле Михайловиче Достоевском. До сих пор о различии характеров, литературных интересов и занятиях братьев в годы их детства и отрочества было известно лишь из воспоминаний их младшего брата Андрея Михайловича Достоевского⁷.

Рукопись Ризенкампа начинается со сравнительной характеристики братьев Достоевских, их облика и характера в годы юности и содержит несколько стихотворе-

ний Михаила Михайловича. «Мы с братом мечтали <...> о поэзии и поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три», — писал Достоевский в «Дневнике писателя» 1876 г., вспоминая о поездке из Москвы в Петербург в мае 1837 г. (XI, 169). Стихи М. М. Достоевского считались утраченными. О них было известно лишь из писем Достоевского и их общего друга И. Н. Шидловского. В архивах сохранились только некоторые переводы М. М. Достоевского из Шиллера, сделанные им в поздние годы⁸. У Ризенкампа находим переводы М. М. Достоевского из немецкой поэзии и те его лирические стихотворения, которые были написаны летом 1837 г. и в 1838—1840 гг. Ими тогда восхищались Достоевский и его друзья. «...Я никогда не был равнодушен к тебе; я любил тебя за стихотворения твои, за поэзию твоей жизни...» — писал Достоевский брату 1 января 1840 г.⁹ С ним Достоевский любил беседовать о литературе и философии, потолковать о форме его стихов, иногда и «кое-что подчистить»¹⁰ в них. В воспоминаниях Ризенкампа М. М. Достоевский предстает мечтателем и возвышенным поэтом.

«Поэзия моя содержит всю мою жизнь, все мои ощущения, горе и радости. Это дневник мой!» — писал М. М. Достоевский к отцу¹¹. Отражения душевной жизни искал и Достоевский в стихах брата: «Какая живая повесть о тебе, милый! И как близко она сказалась мне»¹², — писал ему Достоевский, получив из Ревеля «прелестные» лирические стихотворения, согревавшие сердце «приветным нашептом воспоминаний»¹³. Шидловский знал эти стихи наизусть¹⁴. Достоевский называет стихотворения «Прогулка», «Утро», «Роза», «Фебовы кони» и «много других»¹⁵.

У Ризенкампа, по его словам, хранилось около тридцати юношеских стихотворений М. М. Достоевского. В тетради мемуариста находятся лирические стихотворения, посвященные невесте, из которых одно написано в размере «клоштокских од», перевод из Гердера («Однажды сидела Завота задумчиво возле ручья...»), переводы из Гете.

Наибольший интерес представляет стихотворение «Видение матери», приведенное Ризенкампом без последней строфы. Достоевский писал о нем брату 31 октября 1838 г.: «В твоём стихотворении „Видение матери“ я не понимаю, в какой странный абрис облек ты душу покойницы. Этот замогильный характер не выполнен. — Но зато стихи хороши, хотя в одном месте есть промах. Не сердись за разбор»¹⁶.

Однако в этом стихотворении выступают и реалистическая картина похорон матери, и грустное возвращение всей семьи с кладбища домой на Божедомку, и облик кроткой, поэтичной женщины, с «небесной улыбкой» и «светлым взглядом», много страдавшей от незаслуженных обид со стороны мужа. Предпоследняя строфа стихотворения говорит о том, что в памяти старших сыновей глубоко запечатлелись «слезы в ее приветливых очах» и «укоры обманчивой надежде», которые ощущаются и в сохранившихся ее письмах к мужу¹⁷. Форма «видений», «сновидений» была характерна для романтической поэзии 1830-х годов. Так писал свои стихотворения и Шидловский. К образам таких фантастических видений обращался и Достоевский в своих ранних произведениях. В тетради Ризенкампа приведены неизвестные строки из стихотворений Шидловского («О дар поэзии, ты казнь, не наслажденье, С тобой постыл нам свет, ужасен жизни путь...»), которые, по свидетельству современников, «с увлечением читались и выучивались наизусть его поклонниками»¹⁸. Как указывает Ризенкампф, эти стихи были рекомендованы ему Достоевским для перевода на немецкий язык.

Ризенкампф приводит и свое, посвященное М. М. Достоевскому, стихотворение — подражание Гете, в котором, как он сообщает, Ф. М. Достоевскому особенно понравилась последняя строфа:

Ближних, как себя любить,
Зло, чтоб ненавидеть;
Для добра, для пользы жить,
Слабых не обидеть;

Быть защитой им от зла
И от оскорблений,
И нажить нам до конца
Дань благодарений.

Воссоздавая атмосферу, в которой жили братья Достоевские, вспоминая их друзей, Ризенкампф, кроме Григоровича и Шидловского, называет имя Станислава Осиповича Сталевского, до сих пор остававшееся неизвестным. С ним, по словам мемуариста, Ф. М. Достоевский «искренно подружился».

Ризенкампф пишет и о творческой манере Достоевского, о его настроениях и болезненном состоянии¹⁹.

Многое в идейных интересах Достоевского осталось Ризенкампфу чуждым (так, он, как и другие товарищи Достоевского этих лет, например, Трутовский, не понял причин, приведших Достоевского к петрашевцам). Но его воспоминания, написанные о друзьях юности, много лет спустя, с глубоким уважением и сердечной теплотой, являются достоверным источником для биографии писателя.

В настоящее время рукопись Ризенкампфа хранится в Музее Ф. М. Достоевского в Москве, куда ее в юбилейные дни 1971 г. передал искусствовед Л. И. Гутман.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О. Ф. Миллер. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского. — «Биография, письма и заметки», стр. 30, 34, 41, 42, 48—51, 64, 65, 139, 140.

² «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 111—116. Воспоминания Ризенкампфа (лишь те, которые относятся к началу литературного поприща Достоевского) напечатаны по материалам Миллера и с его замечаниями. См. также стр. 548—551 настоящ. тома.

³ См., например «Новое время», 1881, № 1945; О. Миллер. Биография, письма и заметки...

⁴ «Врач», 1895, № 50. Некролог А. Е. Ризенкампфа; Е. Польская. Пятигорский друг Достоевского. — «Ставропольская правда», 1965, 20 июня.

⁵ «Жизнь и труды Достоевского», стр. 36.

⁶ «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 396.

⁷ «Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского». Л., 1930, стр. 43.

⁸ «Из Шиллера», 1857. — Альбом Н. В. Гербеля. — ГПБ. «Дон Карлос». — ЛБ.

⁹ «Письма», I, стр. 56.

¹⁰ Там же, стр. 58, 72.

¹¹ Письмо М. М. Достоевского к М. А. Достоевскому 28 ноября 1837. — ЛБ, ф. 93, II. 4.29.

¹² «Письма», I, стр. 56.

¹³ Там же, стр. 51.

¹⁴ Там же, стр. 56.

¹⁵ Там же, стр. 51.

¹⁶ Там же, стр. 51.

¹⁷ В. С. Нечаева. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, стр. 109.

¹⁸ Н. А. Решетов. Люди и дела минувших дней. — «Русский архив», 1886, кн. X, стр. 226—228.

¹⁹ Миллер эти материалы упоминает. Не называя имени Ризенкампфа, он говорит лишь о том, когда началась эпилепсия у Достоевского. Полемика по этому поводу развернулась в феврале 1881 г. на страницах газеты «Новое время» (№№ 1778 и 1793); «Биография, письма и заметки...», стр. 139, 140.

Приступая к изложению моих воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском, я поневоле должен начать со старшего его брата, Михаила Михайловича, не только потому, что первоначальное мое знакомство было заключено с ним последним, но и потому, что влияние старшего брата на Федора Михайловича было огромное и жизнь их почти постоянно находилась в тесной связи, скрепившейся их неизменной дружбой и братскою любовью. Замечательно, что оба брата отличались в значительной степени друг от друга сложением, характером и типом физиономии. Михаил Михайлович на шестнадцатом году был таков же, каковым он остался во всю жизнь: невысокого роста, худощав, с несколько впалую грудью, лицо его было очень красивое, умное, продолговатое, слегка смуглое, осененное длинными каштановыми волосами; несмотря на постоянную бледность, цвет его был здоровым; глаза темно-голубые, открытые, весьма выразительные, часто оживленные, почти огненные; нос продолго-

ватый, слегка сторбленный; губы тонкие, подвижные, нередко сжимавшиеся в виде насмешки. Разговор его был при первой встрече, особенно в кругу незнакомых людей, сдержанный, осторожный; затем, коль скоро удалось возбудить его сочувствие или затронуть живую нотку по которому-нибудь из любимых предметов, например, литературе, музыке, он делался более общительным и, наконец, вдохновлялся; в декламации не было ему подобных.

Федор Михайлович, напротив, был в молодости довольно кругленький, полненький, светлый блондин, с лицом округленным и слегка вздернутым носом. Ростом он был не выше брата; светлокаштановые волосы были большею частью коротко острижены; под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щеки были бледные, с веснушками, цвет лица болезненный, землистый; губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата, который при совместном жительстве нередко его удерживал от неосторожных поступков, слов и вредных знакомств; он любил поэзию страстно, но писал только прозу, потому что на обработку рифмы не хватало у него терпения; хватаясь за какой-нибудь предмет, постепенно им одушевляясь, он, казалось, весь кипел; мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил до какого-то иступления, природная прекрасная декламация выходила из границ артистического самообладания; сильный от природы голос его делался крикливым, пена собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около себя. Притом ему вредили испорченные от постоянной привычки к курению трубки зубы. Михаила Михайловича я никогда не видел сердитым; в минуту неудовольствия он разве пустит бывало какую-нибудь тонкую, нередко едкую насмешку; это был человек общества, не увлекавшийся, большею частью ласковый, хотя часто и холодный, обходительный, вследствие природной доброты всегда склонный к оптимизму; Федор Михайлович был не менее добр, обходителен, но будучи не в духе, он часто смотрел на все сквозь черные очки, разгорячаясь, он забывал приличие и увлекался иногда до брани и самозабвения.

Это было в июле месяце 1837 года <в Ревеле.— Г. К.> <...> Михаил Михайлович, пригласив меня в занимаемую им кондукторскую комнату, сообщил мне многие из своих юношеских стихотворений и между прочими: «Видение матери».

Уж было полночь. На тверди голубой
Луна стыдливая средь хора звезд купалась,
И в пене облачка, бежавшего струей,
Она задумчиво, беспечно полоскалась.

А небо синее в бездонных высотах
В нее влюбленное, вздыхая в утомленьи.
То закрывалось в серебряных венках,
То вновь являлось в лукавом отдаленьи.

И ясный свет луны смутился на лугах,
И тканью белую, скользящую ложился;
Казалось островов златых архипелаг
На море зелени причудливо носился.

Какой-то грустию подернулася даль,
Чуть-чуть рисуясь в серебряном тумане,
Вблизи ж нагих лугов стемневшая эмаль
Очам являлася в пленительном обмане.

И я задумчиво очами обнимал
Окрест так сладостно дремавшую природу,

Покуда сон меня крылами не обнял
 И я уснул, — уснул, как не спалось мне сроду.
 И видел я во сне: в бездонных высотах
 Казалось, будто бы все небо всколыхнулось,
 Разверзлось на миг — и в розовых лучах
 Ко мне видение на облачке спускалось.

А в небе слышались еще аккорды лир
 И гасли в воздухе, сюда не долетая,
 И он безмолвствовал, воспетый в небе мир;
 И он безмолвствовал, как будто умирая.
 И все вокруг меня со святостью немой,
 С каким-то трепетом чего-то ожидало,
 И мне все чудилось, что музыкой одной
 Все царство сфер свое течение совершало.

Но ближе облачко прозрачное к земле,
 Чуть колыхаяся, торжественно подходит
 И на темнеющей ночной туманной мгле
 Узоры светлые причудливо выводит.
 Ни звука в воздухе. Лишь только вдалек
 Туманно-белое является виденье,
 И чу! мне слышится в небесной вышине
 За ним архангелов торжественное пенье.

Встаю, гляжу, и что ж? То матери моей
 Умершей с год тому бесплотное явленье!
 Гряди, гряди ко мне, подруга юных дней;
 Гряди, о лучший друг, мне дать благословенье!

О! если бы я мог, о если бы я смел
 Тебя хоть раз обнять, как прежде то бывало!
 Но нет, мой друг! Зачем? Теперь иной предел,
 Иную жизнь тебе блаженство даровало.

О тень, мне милая! А сколько было слез,
 Когда я, горестный, с тобою расставался,
 Когда я в божий храм твой гроб открытый нес
 И там в последний раз с тобой, мой друг, прощался!

Когда в могильный ров я бросил горсть земли.
 Когда пропели вдруг: «Покойся со святыми!»
 И в землю поклонясь, домой все побрели,
 Толкуя кой о чем с домашними своими.

Но нет! Зачем, мой друг, слезами отравлять
 Часы свидания желанного с тобою!
 Ты вновь, ты вновь со мной! Чего ж еще желать?
 Ведь ты останешься теперь всегда со мною.

Скажи мне, милая, когда на небесах
 Одною жизнью с тобою жить я буду?
 Когда я к господу, на ангельских крылах
 Взлетев, все горести земные позабуду?

Мне грустно на земле! Мне тяжело на земле,
 И часто я грущу и часто я здесь плачу!
 Мое грядущее сокрылось в черной мгле,
 А настоящее ловлю я наудачу!

Порой задумчиво смотрю на небеса,
 Где звезды пущены десницею владыки,
 Где солнце светится, где вечная краса,
 Где слышны ангелов торжественные клики.

Смотрю и думаю: мне все здесь говорит,
 Что, лишний гость земли, я должен здесь томиться,
 Я должен видеть здесь, что все меня бежит,
 Как даже самая судьба меня дичится.
 Скажи, мой друг, скажи: что ждет нас в небесах
 На лоне божием, в садах роскошных рая,
 И скоро ль к господу на ангельских крылах
 Валетит душа моя, о горе забывая?..

Но гостя светлая таинственно молчит,
 И ясный лик ее, на небо обращенный,
 Лучами лунными казалось был налит,
 А взор покоился на тверди полуденной.
 Все та ж небесная улыбка на устах,
 Все тот же светлый взгляд, все тот же, как и прежде,
 Но слез уж не было в приветливых очах,
 Укоров не было обманчивой надежде.
 Прозрачный лик ее был к звездам устремлен
 И их алмазными лучами озарялся

Последние заключительные строфы этого стихотворения, к сожалению, у меня затерялись. Михаил Михайлович все свои опыты сообщал молодому поэту Шидловскому, состоявшему и с Федором Михайловичем в постоянной переписке <...>

В июле месяце, после производства кондукторов Мусселиуса (служившего впоследствии в Омске и покровительствовавшего там по возможности Федору Михайловичу во время его ссылки) и Ритчера в первый офицерский чин, Михаилу Михайловичу и мне предоставлено было занять обе кондукторские вакансии при ревельской Инженерной команде. Михаил Михайлович был годом старше меня (он родился в 1820 году). Я уже сказал, что он тогда занимал один обширную кондукторскую комнату в третьем этаже ревельского Инженерного дома на Новой улице (Neugasse). Служебные занятия предоставляли ему довольно свободного времени, чтобы предаться поэзии, и все его стихотворения, написанные чисто и четко (красивым почерком, чрезвычайно сходным с почерком Федора Михайловича) на гладко и стройно обрезанных осьмушечках, лежали открыто на рабочем столе молодого поэта. Он тогда верил глубоко в свое поэтическое призвание и нередко повторял переведенные им стихи Гете:

Не знаю, чем бы я был, не имей я поэзии дара,
 Но с ужасом вспомню о том, что тысячи суть без него.

Не мерещилось ему тогда, что через 15 лет ему придется поместить над одним из окон своего магазина у Банковского моста в Петербурге другие стихи:

Сей магазин открыт писателем одним,
 Который, видя, что его творенья плоски,
 А слава лишь мечта и дым,
 Пустился делать папироски.

<...> Часы, проведенные в июле, августе и сентябре месяцах 1837 года в обществе Михаила Михайловича Достоевского, останутся навсегда одним из приятнейших воспоминаний моей жизни. К сожалению, им суждено было скоро прекратиться. Михаил Михайлович был уже в июле месяце утвержден кондуктором <...>

В октябре я отправился в Петербург с целью поступления в императорскую Медико-хирургическую академию, и Михаил Михайлович, провожая меня до парохода, дал мне письмо к младшему брату с просьбой немедленно по прибытии в Петербург познакомиться с Федором Михайловичем <...>

В ноябре месяце 1837 года я посетил в первый раз Федора Михайловича и Инженерном училище <...>

Свидания мои с Федором Михайловичем в конце 1838 и в начале 1839 года сделались довольно редкими. К счастью, новый президент <Медико-хирургической академии.— Г. К.> Шлегель по высокому своему просвещению и сердечной доброте был настоящим отцом для студентов; он был страстный любитель музыки; с целью распространения ее он дал в мое распоряжение отдельную комнату (24-й номер), в которой помещался рояль. Во время летних вакаций 1839 года Федор Михайлович нередко приезжал ко мне, и мы здесь восхищались вместе не только новостями литературы, но и музыки. Немало было любителей, присоединившихся к нашему времяпровождению. В числе их упомяну о незабвенном товарище, Станиславе Осиповиче Сталевском, искренно подружившимся с Федором Михайловичем.

В декабре 1840 года приехал в Петербург Михаил Михайлович держать экзамен на чин прапорщика полевых инженеров <...> Квартира его была на Васильевском острове (кажется, по 9-й линии) у вдовы Изуматовой <...> Здесь мы встречались часто с Федором Михайловичем. Михаил Михайлович <...> нам читал отрывки своих переводов Шиллеровского «Дон Карлоса» и «Германа и Доротеи» Гете. Много было у него новых лирических стихотворений <...> Из них запечатлелись в моей памяти последние строфы одного:

Поэт! один лишь ты родишься без наследства,
И без защитников свершаешь жизни путь!
Приемыш мира ты; мир холит твое детство,
Чтоб после от груди тебя же оттолкнуть;

Чтоб омрачить твой дух холодностью, презреньем,
Чтоб ты весь век стонал под ношей адских мук.
Мир смотрит на тебя с улыбкой, с восхищеньем
За тем, что стон твой — песнь, а плач твой — райский звук.

<...> 16 февраля 1841 г. Михаил Михайлович, покончив с прощальными визитами, собрал немногочисленных своих знакомых и друзей на прощальный вечер. Здесь был и Федор Михайлович, который в первый раз нам читал отрывки из двух драматических своих опытов: «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова». Михаил Михайлович читал нам довольно пространное стихотворение «Беседа двух ангелов» и некоторые другие. После дружного ужина мы расстались. Рано утром 17-го числа Михаил Михайлович уехал в Ревель.

После отъезда Михаила Михайловича мы в 1841 г. с Федором Михайловичем виделись довольно редко. Я знал, что он готовился к выходному экзамену из училища и потому усиленно занят был изучением требовавшихся при этом экзамене предметов. По окончании экзамена он был выпущен в числе лучших офицеров. Два года оставалось ему еще пробыть в офицерских классах училища <...>

Из разных петербургских удовольствий более всех привлекал его театр. Можно сказать, что в 1841 и 1842 годах в Петербурге все театры без исключения процветали. Что касается балета, то я сам в нем почти никогда не бывал, но Федор Михайлович всегда с восхищением говорил о впечатлении, которое на него производили танцовщицы Тальони, Шлефахт, Смирнова, Андреевна и танцовщик Иогансон. Преимущественно

процветал тогда Александринский театр. Такие артисты, как Каратыгины, Брянский, Мартынов, Григорьевы, г-жи Асенкова, Дюр и пр. производили невероятное впечатление, тем более на страстную, поэтическую натуру Федора Михайловича. На французской сцене мы одинаково восторгались такими талантами, как супруги Алланы, Vernet и его сестра m-me Paul Ernest, Mondidier, Bressant (которого впоследствии заменил не менее даровитый Deschamps), Tétard, Dumeneil, m-me Louisa Mayer, m-me Mila, Malvina и пр. На немецком театре тогда выдавались двое: г. Кунст и г-жа Лилла Лева. Впечатление, произведенное последней актрисой на Федора Михайловича в роли Марии Стюарт, было до той степени сильно, что он решил разработать этот сюжет для русской сцены, но не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно с данными истории. В 1841 и 1842 годах это была одной из главных его задач, и то и дело он нам читал отрывки из своей трагедии «Мария Стюарт».

Второе место в числе петербургских удовольствий занимала музыка. В 1841 году публика восхищалась концертами известного скрипача Оле-Буля. С 9 апреля 1842 года начались концерты гениального Листа и продолжались до конца мая. Несмотря на неслыханную до тех пор цену билетов (сначала по 25, после по 20 рублей ассигнациями), мы с Федором Михайловичем не пропускали почти ни одного концерта. Федор Михайлович нередко посмеивался над своими друзьями, носившими перчатки, шляпы, прическу, тросточки à la Liszt. После одного из концертов, в тесноте при выходе из залы, у него была оторвана кисточка от шпажного темляка, и с тех пор до самой отставки он ходил без этой кисточки, что, конечно, было замечено многими, но Федор Михайлович равнодушно отвечал на все замечания, что этот темляк без кисточки ему дорог, как память о концертах Листа. Впрочем, собственно к музыке Федор Михайлович никогда не относился с тем восторгом, как старший брат его. Михаил Михайлович во всю жизнь был страстным любителем музыки <...> Кроме этих удовольствий молодые люди находили еще развлечение на вечеринках в частных домах. Но Федор Михайлович имел мало знакомств и вообще чуждался их, чувствуя себя в семейных домах не в своей сфере. Оставались балы и маскарады в Дворянском собрании. Наконец, для так называемой jeunesse dorée* существовали еще танцклассы с шпирц-балами: Марцынкевича, Бурé, мадам Кестениг, Рейхардта и пр., и в летнее время загородные гулянья. Понятно, что Федор Михайлович при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать, кидался без разбора в те и другие развлечения; но скорее всего он отказался от балов, маскарадов и пр., так как он вообще был довольно равнодушен к женскому полу и его приманкам. Непостижимы были мне непомерные его расходы, несмотря на сравнительную умеренность в удовольствиях <...>

Весною 1843 года здоровье Федора Михайловича стало поправляться. По-видимому, и материальные его средства улучшились; во время великого поста он навещал концерты вновь прибывшего Листа, знаменитого тенора Рубини и кларнетиста Блаза. 18 апреля мы были на представлении «Руслана и Людмилы». С привычным увлечением он мне декламировал отрывки из сочинений Гоголя, также Ламартина «Le poete mourant», но более всего он занимался чтением французских романистов, особенно «Confession générale» Фредерика Сулье, «Deux contes bruns» Бальзака, «Japhet a la recherche d'un père» Марриэта и т. п.

<...> Скажу несколько слов об обыкновенном ежедневном препровождении времени Федора Михайловича. Не имея никаких знакомств в семейных домах, навещая своих бывших товарищей весьма редко, он почти

* золотой молодежи (франц.).

все время, свободное от службы, проводил дома. Служба ограничивалась ежедневным (кроме праздников) хождением в Инженерный замок, где он с 9 часов утра до 2-х часов пополудни занимался при Главном инженерном управлении. После обеда он отдыхал, изредка принимал знакомых, а затем вечер и большую часть ночи посвящал любимому занятию литературой. Какую ему принесет выгоду это занятие, о том он мало думал. «Ведь дошел же Пушкин до того, что ему за каждую строчку стихов платили по червонцу, ведь платили же Гоголю, — авось и мне заплатят что-нибудь!» — так выражался он часто.

Когда были деньги, он брал из кондитерской последние-вышедшие книжки «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения» или другого журнала, нередко абонировался в которой-нибудь библиотеке на русские и французские книги. У меня были из новеньких немецких беллетрических сочинений творения Карла Бека, Фрейлиграта, Рюккерта, Ник. Ленау, Эм. Гейбеля, А. Грюна, Иммермана, Ферстера, Гервега, Ланге, Г. фон Фаллерслебена, Гейне и Берне и пр. Федор Михайлович считал истраченные на эти сочинения деньги брошенными; единственные интересовавшие его стихи были: «Es kamen nach Frankreich zwei Grenadier» Гейне и «Janko, der ungarische Rosshirt» К. Бека. Во время безденежья (т. е. всего чаще) он сам сочинял, и письменный стол его был всегда завален мелко, но четко исписанными цельными или изорванными листами бумаги. Как жаль, что он в хранении своих листов не соблюдал порядка и аккуратности своего старшего брата!

⟨...⟩ Я старался познакомить его в некоторых семейных домах. Первым в том числе был дом почтенного бельгийца Монтиньи, служившего механиком при арсенале ⟨...⟩ Монтиньи жил в соседстве с нами в Эртелевом переулке в доме аптекаря Фромма ⟨...⟩ На Выборгской стороне была известная ситцевая фабрика швейцарца Шугарта. Еще будучи студентом, где кроме образованных иностранцев, собирались и ученые люди, например, известный писатель доктор Максимилиан фон Гейне (брат поэта), профессор Хоменко, товарищ мой, живописец и скульптор Андерсон и пр. Служившие в фабрике брат известного естествоиспытателя и туриста фон Чуди и писатель Г. Фрей навещали меня нередко и познакомились с Федором Михайловичем.

Но будучи не совершенно тверд во французском разговоре, Федор Михайлович часто разгорячался, начинал плевать и сердиться, и в один вечер развился такой филиппикой против иностранцев, что изумленные швейцарцы его приняли за какого-то «enragé» * и почли за лучшее ретироваться. Несколько дней сряду Федор Михайлович просил меня убедительно оставить всякую попытку к сближению его с иностранцами. «Чего доброго, — женят меня еще на какой-нибудь французенке и тогда придется проститься навсегда с русскою литературой!»

Гораздо лучше Федор Михайлович сошелся с некоторыми товарищами моими из поляков. Первое место в том числе занимал выше уже упоминаемый незабвенный друг мой Станислав Осипович Сталевский. Он происходил из хорошего семейства Витебской губернии и провел юношеские лета в военной службе. Неудачи заставили его через покровительство своего дяди Солтана пристроиться к Медицинской академии, когда ему был уже 23-й год. Военная выправка, стройный высокий стан, красивое лицо с выразительно польским типом, в котором просвечивало истинное добродушие, соединенное с замечательным умом, приятные манеры — все это сделало Сталевского любимцем хорошего женского общества. Разговор его был увлекательный, но всегда обдуманый и осторожный.

* безумца (франц.).

Опытность жизни отличала его перед товарищами, которые все были моложе его летами. Он был одинаково любим и уважаем равно своими товарищами, как и начальниками. Посещения его были Федору Михайловичу особенно приятны, так что, услышав голос его, он нередко бросал свои занятия, чтобы наслаждаться умною и приятною беседою. Сталевский знакомил нас обоих с сочинениями Мицкевича, и многие из прекрасных его сонетов тогда же были мною переведены на немецкий язык.

<...> Я выше говорил о постоянной болезненности Федора Михайловича. В чем состояла эта болезненность и от чего зависела она? Прежде всего он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, так же землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовывались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением, а еще чаще за писанием разных проектированных рассказов. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком, отправлялся расстроенный в Инженерное управление, проклинал свою службу, жаловался на неблагоприятных к нему старших инженерных офицеров и только мечтал о скорейшем выходе в отставку. О болезненной его раздражительности, об опасении наступления какого-то летаргического сна пишет и брат его Андрей Михайлович в № 1778, 8 февраля 1881 года газеты «Новое время». Впрочем, и обстоятельства расстраивали его. То и дело он нанимал писарей для переписки черновых своих сочинений и выходил из себя, видя их ошибки и бесполезно им истраченные деньги. Между тем время шло, и Федор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе еще ни одним печатным сочинением.

Друзья его, как-то Григорович в 1844 году доставил уже на сцену две комедии, разыгранные с успехом; Патон оканчивал перевод «Истории польского восстания Смиттена», Михаил Михайлович оканчивал перевод «Дона Карлоса» Шиллера; я сам помещал разные статейки на немецком языке в «Магазине для немецких читателей в России» Л. Т. Эльснера, а Федор Михайлович, глубоко веривший в свое литературное призвание, изготовил сотни мелких рассказов, но не успел еще составить ни одного вполне оконченного литературного труда. Притом денежные его обстоятельства со дня на день более и более приходили в упадок. Все это расстраивало его нервы и производило припадки какого-то угнетения, заставлявшие опасаться нервного удара или, как он выражался, кондрашки. Я как врач давно заметил его расстройство, требовавшее необходимо деятельного медицинского пособия, но я приписывал все это неправильному образу жизни, бессонным ночам, несоблюдению диеты. Федор Михайлович любил скрывать не только телесные свои неудачи, но и затруднительные денежные обстоятельства. В кругу друзей он казался всегда веселым, разговорчивым, беззаботным, самодовольным. Но немедленно по уходе своих гостей он впадал в глубокое раздумье, затворившись в уединенном кабинете, выкуривал трубку за трубкой, обдумывал печальное свое положение и искал самозабвения в новых литературных вымыслах, в которых главную роль играли страдания человечества.